

Денис НОВИКОВ

# КАРАОКЕ

стихотворения

«Пушкинский фонд» • МСМХСVII  
Санкт-Петербург



X X X В.Г.

Стучит моторик, стучит моторик  
в ночное окно.

Я слушаю, на спинку я перелезаю.  
И мне не тепло.

Стучит моторик, стучит моторик  
с собой о стекло.

Я забираю ушу, и путь мой далек.  
Но мне не светло.

Горюлаем-жизнь, подумавши-жизни,  
коропши забвю.

Рвонущий талисманский стук и потысь  
оплять на живот.

Ремис Ковисов

Денис НОВИКОВ

# КАРАОКЕ

с т и х о т в о р е н и я

«Пушкинский фонд» • МСМХСVII  
Санкт-Петербург

**Н 73**

Марка издательства работы  
*Сергея Семенова*

**ISBN 5—85767—103—5**

**© Д. Новиков, 1997**

*ДАНЕ МАЙЕРС*

**I**





Бумага терпела, велела и нам  
от собственных наших словес.  
С годами притерлись к своим именам,  
и страх узнаванья исчез.

Исчез узнавания первый азарт,  
взошло понемногу былье.  
Катай сколько хочешь вперед и назад  
нередкое имя мое.

По белому черным его напиши,  
на улице проголоси,  
чтоб я обернулся — а нет ни души  
вкруг недоуменной оси.

Но слышно: мы стали вась-вась и петть-петть,  
на равных и накоротке,  
поскольку так легче до смерти терпеть  
с приманкою на локотке.

Вот-вот мы наделаем в небе прорех,  
взмывая из всех потрохов.  
И нечего будет поставить поверх  
застрявших в машинке стихов.

1988





*Валерию*

В ожидании друга из вооруженных  
до зубов, политграмоте знающих тех,  
распевающих бодро о пушках и женах,  
отдыхающих наспех от битв и потех;

из потешных полков обороны воздушной,  
проморгавшей игрушечного пруссака,  
не сморгнувшей его голубой, золотушный  
от пространства и солнца, как все облака

безопасный, штурмующий хронику суток  
самолетик; из комнаты, где по часам  
на открытках, с другой стороны незабудок,  
пишут считанным лицам по всем адресам;

из бывалых, и тертых каленою пемзой,  
проживающих между Калугой и Пензой,  
но таких же, смолящих косяк впятером  
от щедрот азиата, но тоже такого,  
с кем не очень-то сбацаешь Гребенщикова  
и не очень обсудишь стихи, за бугром

выходящие; но ничего, прокатили  
две весны втихомолку, остаток зимы  
перетерпим, раздастся надрывное «ты ли?!»  
по стране, и тогда загуляют взаимы  
рядовые запаса в классическом стиле...

1987



На фоне Афонского монастыря  
потягивать кофе на жаркой веранде,  
и не вопреки, и не благодаря,  
и не по капризу, и не по команде,  
а так, заговаривая,  
говоря.

Куда повело... Не следить за собой.  
Куда повело... Не подыскивать повод.  
И тычется тучное (шмель или овод?),  
украшено национальной резьбой,  
создание и вылетает на холод.

Естественной лени живое тепло.  
Истрепанный номер журнала на пляже.  
Ты знаешь, что это такое. Число  
ушедших на холод растет, на чело  
кладя отпечаток любви и пропажи —

и только они, и еще кофейку.  
И море, смотри, ни единой медузы.  
За длинные ноги и чистые узы!  
Нам каяться не в чем, отдай дураку  
журнал, на кавказском базаре арбузы,

и те, по сравнению с ним на разрез,  
белее крыла голодающей чайки.  
Бессмысленна речь моя в противовес  
глубоким речам записного всезнайки.  
С Олимпа спорхнул он, я с дерева слез.

Я видел, укрывшись ветвями, тебя.  
Я слышал их шепот и пение в кроне.  
И долго молчал, погруженный в себя.  
Нам хватит борозд на Господней ладони,  
язык отпускаю да сердце скрепя.

1988



Одесную одну я любовь посажу  
и ошую — другую, но тоже любовь.  
По глубокому кубку вручу, по ножу.  
Виноградное мясо, отрадная кровь.

И начнется наш жертвенный пир со стиха,  
благодарного слова за хлеб и за соль,  
за стеклянные эти — 0,8 — меха,  
и за то, что призрел перекатную голь.

Как мы жили, подумать, и как погода,  
с наступлением времени двигать назад,  
мы, плечами от стужи земной повода,  
воротимся в Тобой навещаемый ад.

Ну а ежели так посидеть довелось,  
если я раздаю и вино и ножи —  
я гортанное слово скажу на авось,  
что-то между «прости меня» и «накажи»,

что-то между «прости нас» и «дай нам ремня».  
Только слово, которого нет на земле,  
и вот эту любовь, и вот ту, и меня,  
и зачатых в любви, и живущих во зле

оправдает. Последнее слово. К суду  
обращаются частные лица Твои,  
по колено в Тобой сотворенном аду  
и по горло в Тобой сотворенной любви.

1989

## ШКОЛЬНИК

...Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.  
Что он, в сущности, знает о прошлом?  
Был он, помнится, ушлым и дошлым.

Ушлый школьник балдеет от книги «Бальзак.  
Озорные рассказы» и пишет «казак»,  
немудрящему рад палиндрому,  
впрочем, рад он и слову второму.  
Третье слово, простое само по себе  
вызывает улыбку, «улыбок тебе» —  
на доске резюмирует школьник,  
и заходятся в классе до коллик.  
Это всё однокашники и корешки,  
и бесстрашны до первой пробитой башки  
и беспечны отныне до первых  
похорон и работы на нервах.

Дошлый школьник не любит советскую власть,  
он считает сограждан попавшими в пасть  
краснобрюхому Левиафану.  
Доверяется он корифану:  
«Мы живем, под собою не чуя страны, —  
понимаешь? — и нам в ощущение даны  
что-то очень херовые вещи,  
может, даже Китая похлеще».

Был он ушлым, а сделался скучным, увы.  
Потерялись из виду остатки братвы.  
За спиною никто не регочет  
и стоять на атасе не хочет.

Был он дошлым, а стал доходным. Такова  
селяви. Как разденется он догола,  
так без слез и не глянешь в зеркало,  
что отчаянный секс порицало.  
Разомкнуло чудовище смрадную пасть,  
а шагнуть из нее — в невесомость попасть,  
так что бывшему школьнику выход  
не сулит ни свободы, ни выгод.

Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та,  
но пока не сковала его немота,  
да не сделаем вывод поспешный.  
Вдруг отыщется выход успешный?

*1989*



Куда ты, куда ты... Ребенка в коляске везут,  
и гроб на плечах из подъезда напротив выносят.  
Ремесленный этот офорт, этот снег и мазут,  
замешенный намертво, взять на прощание просят.

Хорошие люди, не хочется их обижать.  
Спасибо, спасибо, на первый же гвоздь обещаю  
повесить. Как глупо выходит — собрался бежать,  
и сиднем сидишь за десятою чашкою чаю.

Тебя угощали на этой земле табаком.  
Тряпьем укрывали, будильник затурканный тикал.  
Оркестр духовой отрывался в саду городском.  
И ты отщепенцам седым по-приятельски тыкал.

Куда ты, куда ты... Не свято и пусто оно.  
И встанет коляска, и гроб над землею зависнет.  
«Не пес на цепи, но в цепи неразрывной звено» —  
промолвит такое и от удивленья присвистнет.

1989



*В. Г.*

Стучит мотылек, стучит мотылек  
в ночное окно.  
Я слушаю, на спину я перелег.  
И мне не темно.

Стучит мотылек, стучит мотылек  
собой о стекло.  
Я завтра уеду, и путь мой далек.  
Но мне не светло.

Подумаешь жизнь, подумаешь жизнь,  
недолгий завод.  
Дослушай томительный стук и ложись  
опять на живот.

*1994*



Разгуляется плотник, развяжет рыбак,  
стол осядет под кружками враз.  
И хмелеющий плотник промолвит: «Слабак,  
на минутку приблизься до нас».

На залитом глазу, на глазу голубом  
замигает рыбак, веселясь:  
«Напиши нам стихами в артельный альбом,  
вензелями какими укрась.

Мы охочи до чтенья высокого, как  
кое-кто тут до славы охоч.  
Мы библейская рифма, мы «плотник-рыбак»,  
потеснившие бездну и ночь.

Мы несли караул у тебя в головах  
за бесшумным своим домино,  
и окно в январе затворяли впотьмах,  
чтобы в комнату не намело.

Засидевшихся мы провожали гостей,  
по углам разгоняли тоску,  
мы продрогли в прихожей твоей до костей,  
и гуляем теперь в отпуску...»

1990



## СТИХОТВОРЕНИЯ К ЭМИЛИ МОРТИМЕР

Тебе — но голос музы темной...

*А. Пушкин*

### I

Словно пятна на белой рубаше  
проступали похмельные страхи,  
да поглядывал косо таксист.  
И химичил чего-то такое,  
и почесывал ухо тугое,  
и себе говорил я «окстись».

Ты славянскими бреднями бредишь,  
ты домой непременно доедешь,  
он не призрак, не смерти, никто.  
Молчаливый работник приварка,  
он по жизни из пятого парка,  
обыватель, водитель авто.

Заклиная мятущийся разум,  
зарекался я тополем, вязом,  
овощным, продуктовым, — трясло, —  
ослепительным небом навырост.  
Бог не фраер, не выдаст, не выдаст.  
И какое сегодня число?

Ничего-то три дня не узнает,  
на четвертый в слезах опознает,  
ну а юная мисс, между тем,  
проезжая по острову в кэбе,  
заприметит явление в небе:  
кто-то в шашечках весь пролетел.

### II

Усыпала платформу лузгой,  
удушала духами «Кармен»,  
на один вдохновляла другой  
с перекрестною рифмой катрен.

Я боюсь, она скажет в конце:  
своего ты стыдился лица,  
как писал — изменялся в лице.  
Так меняется у мертвеца.

То во образе дивного сна  
Амстердам, и Стокгольм, и Брюссель.  
То бессонница, Танька одна,  
лесопарковой зоны газель.

Шутки ради носила манок,  
поцелуй — говорила — сюда.  
В коридоре бесился щенок,  
но гулять не спешили с утра.

Да и дружба была хороша,  
то не спички гремят в коробке —  
то шуршит в коробке анаша  
камышом на волшебной реке.

Удалось. И не надо му-му.  
Сдачи тоже не надо. Сбылось.  
Непостижное, в общем, уму.  
Пролетевшее, в общем, насквозь.

### III

Говори, не тушуйся, о главном:  
о бретельке на тонком плече,  
поведеньи замка своенравном,  
заточенном под коврик ключе.

Дверь откроется — и на паркете,  
растекаясь, рябит светотень,  
на жестянке, на стоптанной кеде.  
Лень прибраться и выбросить лень.

Ты не знала, как это по-русски.  
На коленях держала словарь.  
Чай вприкуску. На этой «прикуске»  
осторожно, язык не сломай.

Воспаленные взгляды туземца.  
Танцы-шманцы, бретелька, плечо.

Но не надо до самого сердца.  
Осторожно, не поздно еще.

Будьте бдительны, юная леди.  
Образумься, дитя пустырей.  
На рассказ о счастливом билете  
есть у Бога рассказ постарей.

Но, обнявшись над невским гранитом,  
эти двое стоят дотемна.  
И матрешка с пятном знаменитым  
на Арбате приобретена.

#### IV

«Интурист», телеграф, жилой  
дом по левую — Боже мой —  
руку. Лестничный марш, ступень  
за ступенью... Куда теперь?  
Что нам лестничный марш поет?  
То, что лестничный все пролет.  
Это можно истолковать  
в смысле «стоит ли тосковать?».

И еще. У Никитских врат,  
сто на брата — и черт не брат,  
под охраню всех властей  
странный дом из одних гостей.  
Здесь проездом томился Блок,  
а на память — хоть шерсти клок.  
Заключим его в медальон,  
до отбитых краев дольем.

Боже правый, своим перстом  
эти крыши пометь крестом,  
аки крыши госпиталей.  
В день назначенный пожалей.

#### V

Через сиваш моей памяти, через  
кофе столовский и чай бочковой,

через по кругу запущенный херес  
в дебрях черемухи у кольцевой,  
«Баней» Толстого разбуженный эрос,  
выбор профессии, путь роковой.

Тех еще виршей первейшую читку,  
страшный народ — борода к бороде, —  
слух напрягающий. Небо с овчинку,  
сомнамбулический ход по воде.  
Через погост раскусивших начинку.  
Далее, как говорится, везде.

Знаешь, пока все носились со мною,  
мне предносилось виденье твое.  
Вот я на вороте пятна замою,  
переменю торопливо белье.  
Радуйся — ангел стоит за спиною!  
Но почему опершись на копье?

## ОТЪЕЗД

Подогретый асфальт печет.  
И подстриженный куст стоит.  
И ухоженный старичок  
отрицает, что он старик.

И волынка мычит на том  
(так что не обогнуть) углу,  
объясняя зашитым ртом,  
что зашили в него иглу.

Пролетает судьба верхом,  
вся с иголочки до колес,  
в майке с надписью Go Home  
на растерянный твой вопрос.

Раздраженным звенит звонком  
на рассеянный твой протест...  
Время пепельницы тайком  
выносить из питейных мест.

*1990*



«И будет он как дерево,  
посаженное при потоках вод,  
которое приносит...»

*Псалтирь*

Сей достоверный признак жизни дрожь,  
в котором видел слабость и доуку,  
прохватит напоследок — и хорош...  
Учитель мой, спасибо за науку.

Я был готов. И руку под углом  
я подымал под гулкий ропот класса.  
И опускал на огненный псалом  
«и будет он как дерево...» и клялся.

От первых до последних клятв моих  
в сем «лучшем из» слетело столько с петель,  
что первое, что вспомнишь, — ряд дверных  
проемов и прогалов. Ты свидетель.

Душа, пьяна, пойдет наискосок.  
Покружит над больницей и топкой.  
Она черкнет последний адресок  
в сороковины водочною пробкой.

Он был готов. И он теперь она.  
Душа. И это за игру словами  
расплата, это тайна, это на-  
тюрморт с непринесенными плодами.

1990

## ЯНВАРСКИЕ СТИХИ

### I

Видишь, наша Родина в снегу.  
Напрочь одичалые дворы  
и автобус желтый на кругу —  
наши новогодние дары.

Поднеси грошовую свечу,  
купленную в Риге в том году, —  
как сумею сердце раскручу,  
в белый свет, прицелься, попаду.

В белый свет, как в мелкую деньгу,  
медный неразменный талисман.  
И в автобус желтый на кругу  
попаду и выверну карман.

Родина моя галантерей,  
в реках отразившихся лесов,  
часовые гирьки снегирей  
подтяни да отопри засов,

едут, едут, фары, бубенцы.  
Что за диво — не пошла по шву.  
Льдом свела, как берега, концы.  
Снегом занесла разрыв-траву.

1988

### II

И в минус тридцать, от конфорок  
не отводя ладоней, мы —  
«спасибо, что не минус сорок» —  
отбреем панику зимы.

Мы видим черные береты,  
мы слышим шутки дембелей,

и наши белые билеты  
становятся еще белей.

Ты не рассчитывал на вечность,  
души приبلудной инженер,  
в соблазны вводящую конечность  
по-человечески жалел.

Ты головой стучался в бубен.  
Но из игольного ушка  
корабль пустыни «все там будем» —  
шепнул тебе исподтишка.

Восславим жизнь — иной предтечу!  
И, с вербной веточкой в зубах,  
военной технике навстречу  
отважмся на двух горбах.

Восславим розыгрыш, обманку,  
странноприимный этот дом.  
И честертонову шарманку  
во все регистры заведем.

1990

### III

*Ф. Николаеву*

Рождение. Школа. Больница.  
Столица на липком снегу.  
И вот за окном заграница,  
похожа на фольгу-фольгу́,

цветную, из комнаты детской,  
столовой и спальной сиречь,  
из прошлой навеки, советской,  
которую будем беречь

всю жизнь. И в музее поп-арта  
пресыщенной черни шаги  
нет-нет да замедлит грин-карта  
с приставшим кусочком фольги.

И голубь, от холода сизый,  
взметнется над лондонским дном,



над телом с просроченной визой  
в кармане плаща накладном.

И призрачно вспыхнет держава  
над еврокаким-нибудь дном,  
и бобби смутят, и ажана  
корявые нэйм и преном.

А в небе, похлеще пожара,  
и молот, и венчик тугой  
колосьев, и серп, и держава  
со всею пенькой и фольгой.

1992

## ИРЛАНДИЯ

### I. Белфаст

Скоро, скоро будет теплынь,  
долголядые май-июнь.  
Дотяни до них, доволынь.  
Постучи по дереву, сплюнь.

Зренью зябкому Бог подаст  
на развод золотой пятак,  
густо-синим зальет Белфаст.  
Это странно, но это так.

### II

*Бенджамину Маркизу-Гилмору*

Неподалеку от казармы  
живешь в тиши.  
Ты спишь, и сны твои позорны  
и хороши.

Ты нанят как бы гувернером,  
и, час спустя,  
ужо возьмет тебя измором  
как бы дитя.

А ну вставай, ученый немец,  
мосье француз.  
Чуть свет в окне — готов младенец  
мотать на ус.

И это лучше, чем прогулка  
ненастным днем.  
Поправим плед, прочистим горло,  
читать начнем.

Сама достоинства наука  
у Маршака  
про деда глупого и внука,  
про ишака —

как перевод восточной байки.  
Ах, Бенджамин,  
то Пушкин молвил без утайки:  
живи один.

Но что поделать, если в доме  
один Маршак.  
И твой учитель, между нами,  
да-да, дружок...

Такое слово есть «фиаско».  
Скажи, смешно?  
И хоть Белфаст, хоть штат Небраска,  
а толку что?

Как будто вещь осталась с лета  
лежать в саду,  
и в небесах все меньше света  
и дней в году.

### III. Баллимакода

За счастливый побег! — ничего себе тост.  
Так подмигивай, скалься, глотай, одурев не  
от виски с прицепом и джина внахлест,  
четверть века встречая в ирландской деревне.

За бильярдную удаль крестьянских пиров!  
И контуженый шар выползает на пузе  
в электрическом треске соседних шаров,  
и улов разноцветный качается в лузе.

А в крови «Джонни Уокер» качает права.  
Полыхает огнем то, что зыбилося жижей.  
И клонится к соседней твоя голова  
промежуточной масти — не черной, не рыжей.

Дочь трактирщика — это же черт побери.  
И блестящий бретер каждой бочке затычка.  
Это как из любимейших книг попури.  
Дочь трактирщика, мало сказать — католичка.

За бумажное сердце на том гарпуне  
над камином в каре полированных лавок!

Но сползает, скользит в пустоту по спине,  
повисает рука, потерявшая навык.

Вольный фермер бубнит про навоз и отел.  
И, с поклоном к нему и другим выпивохам,  
поднимается в общем-то где-то бретер  
и к ночлегу неблизкому тащится пехом.

1992



Забудь отдельный звук и призыв слитный,  
малороссийский выговор живой,  
и на пороге малогабаритной  
квартиры — поцелуй как таковой.

Забудь пикник на станции Красково,  
на станции Кусково перерыв  
в движение поездов. Еще не скоро.  
Прищур окрестной зелени игрив.

Избыток жизни в судорожном теле,  
и смену поз — не спрашивай зачем.  
Спроси, зачем сменяются недели  
на месяцы и годы. В «академ»

уходит второкурсница, на третьем  
ее партнер (по слухам, андрогин)  
спивается, становится отребьем.  
Но этот слух сменяется другим.

Итак, забудь. Смотри, не перепутай,  
а то забудешь что-нибудь не то.  
Тот выговор, усиленный минутой  
беспамятства, и дачное лото, —

дурачится, глядит в кулак и тянет,  
мешочек перетряхивает. Ну?!  
Подходит поезд, поезд ждать не станет  
как таковую молодость одну.

1992



Казалось, внутри поперхнется вот-вот  
и так ОТК проскочивший завод,  
но ангел стоял над моей головой.  
И я оставался живой.

На тысячу ватт замыкало ампер,  
но ангельский голос не то чтобы пел,  
не то чтоб молился, но в темный провал  
на воздух по имени звал.

Все золото Праги и весь чуингам  
Манхэттена бросить к прекрасным ногам  
я клялся, но ангел планиды моей  
как друг отсоветовал ей.

И ноги поджал к подбородку зверек,  
как требовал знающий вдоль-поперек —  
«за так пожалей и о клятвах забудь».  
И оберег бился о грудь.

И здесь, в январе, отрицающем год  
минувший, не вспомнить на стуле колгот,  
бутылки за шкафом, еды на полу,  
мочала, прости, на колу.

Зажги сигаретку, да пепел стряхни,  
по средам кино, по субботам стряпни,  
упрека, зачем так набрался вчера,  
прощенья, и etc. —

не будет. И ангел, стараясь развлечь,  
заводит шарманку про русскую речь,  
вот это, мол, вещь. И приносит стило.  
И пыль обдувает с него.

Ты дым выдыхаешь-вдыхаешь, губя  
некрепкую плоть, а как спросят тебя  
насмешник Мефодий и умник Кирилл:  
«И много же ты накурил?».

И мене и текел всему упарсин.  
И стрелочник Иов допек, упросил,  
чтоб вашему брату в потемках шептать  
«вернется, вернется опять».

На чудо положимся, бросим чудить,  
как дети каракули сядем чертить.  
Глядишь, из прилежных кружков и штрихов  
проглянет изнанка стихов.

Глядишь, заработает в горле кадык,  
начнет к языку подбираться впритык.  
А рот, разлепившийся на две губы,  
прощенья просить у судьбы...

1993



Слушай же, я обещаю и впредь  
петь твое имя благое.  
На ухо мне наступает медведь —  
я подставляю другое.

Чу, колокольчик в ночи загремел.  
Кто гоношит по грязи там?  
Тянет безропотный русский размер  
бричку с худым реквизитом.

Певчее горло дерет табачок.  
В воздухе пахнет аптечкой.  
Как увлечен суходрочкой сверчок  
за крематорскою печкой!

А из трубы идиллический дым  
(прямо на детский нагрудник).  
«Этак и вправду умрешь молодым», —  
вслух сокрушается путник.

Так себе песнь небольшим тиражом.  
Жидкие аплодисменты.  
Плеск подступающих к горлу с ножом  
Яузы, Леты и Brentы.

Голос над степью, наплаканный всласть,  
где они, пеший и конный?  
Или выходит гримасами страсть  
под баритон граммофонный?

1992





А мы, Георгия Иванова  
ученики не первый класс,  
с утра рубля искали рваного,  
а он искал сердешных нас.

Ну, встретились. Теперь на Бронную.  
Там, за стеклянными дверьми,  
цитату выпали коронную,  
сто грамм с достоинством прими.

Стаканчик бросовый, пластмассовый  
не устоит пустым никак.  
— Об Ариостовой и Тассовой  
не надо дуру гнать, чувак.

О Тассовой и Ариостовой  
преподавателю блесни.  
Полжизни в Гомеле наверстывай,  
ложись на сессии костями.

А мы — Георгия Иванова,  
а мы — за Бога и царя  
из лакированного наново  
пластмассового стопаря.

...Когда же это было, Господи?  
До Твоего явления нам  
на каждом постере и простыне  
по всем углам и сторонам.

Еще до бело-сине-красного,  
еще в зачетных книжках «уд»,  
еще до капитала частного.  
— Не ври. Так долго не живут.

Довольно горечи и мелочи.  
Созвучий плоских и чужих.  
Мы не с Тверского — с Бронной неучи.  
Не надо дуру гнать, мужик.

Открыть тебе секрет с отсрочкою  
на кругосветный перелет?  
Мы проиграли с первой строчкою.  
Там слов порядок был не тот.

*1994*



В какой бы пух и прах он нынче ни рядился.  
Под мрамор, под орех...  
Я город разлюбил, в котором я родился.  
Наверно, это грех.

На зеркало пенять — не отрицаю — неча.  
И неча толковать.  
Не жалобясь, не злясь, не плача, не переча,  
вещички паковать.

Ты «зеркало» сказал, ты перепутал что-то.  
Проточная вода.  
Проточная вода с казенного учета  
бежит, как ото льда.

Ей тошно поддавать всем этим гидрам, домнам —  
и рвется из клёшней.  
А отражать в себе страдальца с ликом томным  
ей во сто крат тошней.

Другого подавай, а этот... этот спекся.  
Ей хочется балов.  
Шампанского, интриг, кокоса, а не кокса.  
И музыки без слов.

Ну что же, добрый путь, живи в ином пейзаже  
легко и кочево.  
И я на последях на зимней распродаже  
заначил кой-чего.

Нам больше не носить обносков живописных,  
вельвет и габардин.  
Предание огню предписано на тризнах.  
И мы ль не предадим?

В огне чадит тряпье и лопается тара.  
Товарищ костровой,  
поярче разведи, чтоб нам оно предстало  
с прощальной остротой.

Все прошлое, и вся в окурках и отходах,  
лилейных лепестках,  
на водах рожениц и на запретных водах,  
кисельных берегах,

закрученная жизнь. Как бритва на резинке.  
И что нам наколоть  
на память, на помин... Кончаются поминки.  
Довольно чушь молоть.

1993



I

Для густых бровей,  
как шутил отец,  
ты кормила меня икрой.  
Заточи мой слух,  
расплети крестец  
и небожно глаза закрой.

Я дышал в тебе,  
продышал пятно  
и увиденным был прельщен.  
Да гори оно,  
воскресай оно  
хоть из пепла, а я при чем?

II

Не орла, не решку метнем в сердцах,  
не колоду, смешав, сдадим.  
А билет воздушный о двух концах,  
потяни на себя один.

Беглецу по вкусу и тень шпалер,  
и блескучий базар-вокзал.  
Как об этом смачно сказал Бодлер —  
мне приятель пересказал.

III

Был я твой студент,  
был я твой помреж,  
симулянт сумасшедший был.  
Надорви мой голос,  
язык подрежь,  
что еще попросить забыл?

Покачусь шаром, самому смешно.  
Черной точкой наоборот,  
что никак не вырастет ни во что,  
приближаясь. И жуть берет.

*1994*



N.

Повисает рука, отмирает моя голова.  
И с похмелья в глазах темно. Похмелью — темно.  
Ты не любишь меня, ты не знаешь, как ты права.  
Но... А впрочем, какое нам остается «но»?

Принадлежность постельную можно в ночи кусать.  
Можно чиркнуть лезвием — выйдет ни то ни сё.  
Можно бросить все. Но не стоит всего бросать.  
Надо что-то оставить. А значит, оставить все.

Вот потому и славится в вышних, иных мирах.

Переплетаясь в объятиях, как бы в мирах иных,  
помнили и в беспмятстве, кто мы такие — прах.  
И восклицали Господи! на языках земных.

1994

## ТЕЛЕМАХИДА

Телемак Эвхарису встречает в пути.  
Свой корабль он сжигает дотла.  
— Извини меня, Ментор, с добром отпусти.  
Ложе брачное лучше одра.

И срывается Ментор на мат-перемат.  
Но доносится голос, высок:  
«Не тужи о своем корабле, Телемак,  
это дерева только кусок.  
Не тужи об отце, он давно заторчал  
у такой же, как нимфа твоя.  
Он таких — чтоб сказать поприличнее — чар  
поотведал, такого питья  
из распахнутых уст, из кувшинов живых,  
перевернутых к небу вверх дном,  
что его ни один не волнует жених  
и ни все женихи табуном.  
Добрый день вам, счастливы, попавшие в цель.  
Вы доплыли до правильных стран.  
Человечества станут качать колыбель  
чудо-нимфы героям в пандан».

Только Ментор кричит: подымись, Телемак.  
И Улисса Афина зовет.  
И от весельных топких тошнит колымаг,  
от сыновних-отцовских забот.

Ты ревнива, Афина. Ты хочешь любви.  
И доспехи истомой текут.  
Покоряемся воле. Но мы не твои.  
Ничего. Скоро боги умрут.

1994



## РОССИЯ

плат узорный до бровей  
А. Блок

Ты белые руки сложила крестом,  
лицо до бровей под зеленым хрустом,  
ни плата тебе, ни косынки —  
бейсбольная кепка в посылке.  
Износится кепка — пришлют паранджу,  
за так, по-соседски. И что я скажу,  
как сын, устыдившийся срама:  
«Ну вот и приехали, мама».

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,  
мы ровно полмира держали в зубах,  
мы, выше чернил и бумаги,  
писали свое на рейхстаге.  
Свое — это грех, нищета, кабала.  
Но чем ты была и зачем ты была,  
яснее, часть мира шестая,  
вот эти скрижали листая.

Последний рассудок первач помрачал.  
Ругали, таскали тебя по врачам,  
но ты выгрызала торпеду  
и снова пила за Победу.  
Дозволь же и мне опрокинуть до дна,  
теперь не шестая, а просто одна.  
А значит, без громкого тоста,  
без иста, без веста, без оста.

Присядем на камень, пугая ворон.  
Ворон за ворон не считая, урон  
державным своим эпатажем  
ужо нанесем — и завяжем.

Подумаем лучше о наших делах:  
налево — Маммона, направо — Аллах.  
Нас кличут почившими в бозе,  
и девки хохочут в обозе.  
Поедешь налево — умрешь от огня.  
Поедешь направо — утопишь коня.

Туман расстилается прямо.  
Поехали по небу, мама.

*1992*



С полной жизнью налью стакан,  
приберу со стола к рукам,  
как живой подойду к окну  
и такую вот речь толкну:

Десять лет проливных ночей,  
понадкусанных калачей,  
недоеденных блан-манже:  
извиняюсь, но я уже.  
Я запомнил призывный жест,  
но не помню, какой проезд,  
переулок, тупик, проспект,  
шторы тонкие на просвет,  
утро раннее, птичий грай.  
Ну не рай. Но почти что рай.

Вот я выразил, что хотел.  
Десять лет свои просвистел.  
Набралось на один куплет.  
А подумаешь — десять лет.  
Замыкая порочный круг,  
я часами смотрю на крюк.  
И ему говорю, крюку,  
«ты чего? я еще в соку».  
Небоскребам, мостам поклон.  
Вы сначала, а я потом.

Я обломок страны, совок.  
Я в послании. Как плевок.  
Я был послан через плечо  
граду, миру, кому еще?  
Понимает моя твоя.  
Не поймет ли твоя моя?  
Как в лицо с тополей мело,  
как спалось мне малым-мало.  
Как назад десять лет тому  
граду, миру, еще кому?  
про себя сочинил стишок —  
и чужую тахту прожег.

1994

## II



## ПОЭЗИЯ

Встанешь не с той ноги,  
выйдут не те стихи.  
Господи, помоги,  
пуговку расстегни

ту, что под горло жмет,  
сколько сменил рубах,  
сколько сменилось мод...  
Мед на моих губах.

Замысел лучший Твой,  
дарвиновский подвид,  
я, как смешок кривой,  
чистой слезой подмыт.

Лабораторий явь:  
щелочи отними,  
едких кислот добавь,  
перемешай с людьми,

чтоб не трепал язык  
всякого свысока,  
сливки слизнув из их  
дойного языка.

Чокнутый господин  
выбрал лизать металл,  
голову застудил,  
губы не обметал.

Губы его в меду.  
Что это за синдром?  
Кто их имел в виду  
в том шестьдесят седьмом?

Как бы ни протекла,  
это *моя* болезнь, —  
прыгать до потолка  
или на стену лезть.

Что ты мне скажешь, друг,  
если не бредит Дант?  
Если девятый круг  
светит как вариант?

Город-герой Москва,  
будем в восьмом кругу.  
Я — за свои слова,  
ты — за свою деньгу.

Логосу горячо  
молится протееже:  
я не готов еще,  
как говорил уже.

1995



От отца мне остался приемник — я слушал эфир.  
А от брата остались часы, я сменил ремешок  
и носил, и пришла мне догадка, что я некрофил,  
и припомнилось шило и вспоротый шилом мешок.

Мне осталась страна — добрым молодцам вечный  
наказ.

Семерых закопают живьем, одному повезет.  
И никак не пойму, я один или семеро нас.  
Вдохновляет меня и смущает такой эпизод:

как Шопена мой дед заиграл на басовой струне  
и сказал моей маме: «Мала еще старших корить.  
Я при Сталине пожил, а Сталин загнулся при мне.  
Ради этого, деточка, стоило бросить курить».

Ничего не боялся с Трехгорки мужик. Почему?  
Потому ли, как думает мама,  
что в тридцать втором  
ничего не бояться сказала цыганка ему.  
Что случится с Иваном — не может случиться  
с Петром.

Озадачился дед: «Как известны тебе имена?!»  
А цыганка за дверь, он вдогонку, а дверь заперта.  
И тюрьма и сума, а потом мировая война  
мордовали Ивана, уча фатализму Петра.

Что печатными буквами писано нам на роду —  
не умеет прочесть всероссийский народный Смирнов.  
«Не беда, — говорит, навсегда попадая в беду, —  
где-то должен быть выход». Ба-бах. До свиданья,  
Смирнов.

Я один на земле, до смешного один на земле.  
Я стою, как дурак, и стрекочут часы на руке.  
«Береги свою голову в пепле, а ноги в тепле» —  
я сберег. Почему ж ты забыл обо мне, дураке?



Как юродствует внук, величаво немотствует дед.  
Умирает пай-мальчик и розгу целует взасос.  
Очертанья предмета надежно скрывают предмет.  
Вопрошает ответ, на вопрос отвечает вопрос.

*1995*

## SILK CUT\*

...Опускаясь со дна, поднимаясь на дно,  
я запомнил с часами костел.  
Начиналось на станции Ангел оно,  
у Семи продолжалось Сестер.

Развлекательный пирс на морском берегу,  
все быстрее и быстрее карусель.  
Веселись не хочу, хохочи не могу,  
а ребяческий страх пересиль.

Маракует астролог тире хиромант  
и по звездам читает ладонь.  
Не смертельно, что мой гороскоп хероват,  
а ее гороскопа не тронь.

В небесах замирает навытяжку змей,  
напрягается трос-окорот.  
Истукана из лавки восточной прямой  
этот викторианский курорт.

Отступает волна, подступает волна,  
выступает на площади мим.  
Как она, одинаков во все времена,  
а сегодня ни с чем не сравним.

А по волнам трассирует камень-голыш  
и почти настигает закат,  
и вбирает с ладони ливанский гашиш  
по-британски терпимый Silk Cut.

И зеркальная вывеска «завтрак-ночлег»,  
и хозяина вежливый стук,  
и горящий ночник, как он утром поблек,  
одеяла узорный лоскут.

---

\* «Силк Кат» — «Шелковый Разрез» (англ.) — популярная в Британии марка сигарет.

Не стучи, не тревожь, мы не спим снова.  
Как рукой удержать жернова?  
Я пишу на обложке буклета слова,  
а она как волна, как трава, —

перемелется все, перемолотый сор  
отклубится и ляжет под пресс.  
Как две капли ни с чем не сравнимый узор  
через шелковый вспыхнет разрез.

1995

## ПАМЯТИ СЕРГЕЯ НОВИКОВА

Все слова, что я знал, — я уже произнес.  
Нечем крыть этот гроб-пуховик.  
А душа сколько раз уходила вразнос,  
столько раз возвращалась. Привык.

В общем, Царствие, брат, и Небесное, брат.  
Причастись необманной любви.  
Слышишь, вечную жизнь православный обряд  
обещает? — на слове лови.

Слышишь, вечную память пропел-посулил  
на три голоса хор в алтаре  
тем, кто ночь продержался за свой инсулин  
и смертельно устал на заре?

Потерпеть, до поры не накладывать рук,  
не смежать лиловеющих век —  
и широкие связи откроются вдруг,  
на Ваганьковском свой человек.

В твердый цент переводишь свой ломаный грош,  
а выходит — бессмысленный труд.  
Ведь могильщики тоже не звери, чего ж,  
понимают, по курсу берут.

Ты пришел по весне и уходишь весной,  
ты в иных повстречаешь края  
и со строчной отца, и Отца с прописной.  
Ты навеки застрял в сыновьях.

Вам не скучно втроем, и на гробе твоём,  
чтобы в грех не вводить нищету,  
обломаю гвоздики — известный прием.  
И нечетную розу зачту.

1995

Долетит мой ковер-самолет  
из заморских краев корабельных,  
и отечества зад наперед —  
как накатит, аж слезы на бельмах.

И, с таможенной разделавшись враз,  
рядом с девицей встану красавой:  
— Все как в песне сложилось у нас.  
Песне Галича. Помнишь? Той самой.

Мать-Россия, кукушка, ку-ку!  
Я очищен твоим снегопадом.  
Шапки нету, но ключ по замку.  
Вызывайте нарколога на дом!

Уж меня хоронили дружки,  
но известно крещеному люду,  
что игольные ушки узки,  
а зоилу трудней, чем верблюду.

На-кась выкуси, всякая гнусь!  
Я обветренным дядей бывалым  
как ни в чем не бывало вернусь  
и пройдуся по знакомым бульварам.

Вот Охотный бахвалится ряд,  
вот скрипит и косится Каретный,  
и не верит слезам, говорят,  
ни на грош этот город *конкретный*.

Тот и царь, чьи коровы тучней.  
Что сказать? Стало больше престижу.  
Как бы этак назвать поточней,  
но не грубо? — А так: **НЕНАВИЖУ**

загулявшее это хамье,  
эту псарню под вывеской «Ройял».  
Так устроено сердце мое,  
и не я мое сердце устроил.

Но ништо, проживем и при них,  
как при Лёне, при Мише, при Грише.  
И порукою — этот вот стих,  
только что продиктованный свыше.

И еще. Как наследный москвич  
(гол мой зад, но античен мой перед),  
клевету отвергаю: опричь  
слез она ничему и не верит.

Вот моя расписная слеза.  
Это, знаешь, как зернышко риса.  
Кто я был? Корабельная крыса.  
Я вернулся. Прости меня за...

1995

## МУЗЫКА

Нас тихо сживает со света  
и ласково сводит с ума  
покладистых — музыка эта,  
строптивых — музыка сама.

Ну чем, как не этим, в Париже  
заняться — *сгореть изнутри?*  
Цыганское «по-го-во-ри же»  
вот так по слогам повтори.

И произнесенное трижды  
на север, на ветер, навзрыд —  
оно не обманет. Поди ж ты,  
горит. Как солома горит!

Поехали, сено, солома,  
листва на бульварном кольце...  
И запахом мяса сырого  
дымок отзовется в конце.

А музычка ахнет гитаркой,  
пускаясь наперегонки,  
слабея и делаясь яркой,  
как в поле ночном огоньки.

1995

## Я ПРОШЕЛ, КАК ПРОХОДИТ...

Я прошел, как проходит в метро  
человек без лица, но с поклажей,  
по стране Левитана пейзажей  
и советского информбюро.

Я прошел, как в музее каком,  
ничего не подвинул, не тронул,  
я отдал свое семя как донор,  
и с потомством своим не знаком.

Я прошел все слова словаря,  
все предлоги и местоименья,  
что достались мне вместо имения,  
воля черни и ласки царя.

Как слепого ведет поводырь,  
провела меня рифма-богиня:  
— Что ты, милый, какая пустыня?  
Ты бы видел — обычный пустырь.

Ухватившись за юбку ее,  
доверяя единому слуху,  
я провел за собой потаскуху  
рифму, ложь во спасенье мое...

1996



## ТРАВИАТА

### 1

Я помню, я стоял перед окном  
тяжелого шестого отделения  
и видел парк — не парк, а так, в одном  
порядке как бы правильном дерева.  
Я видел жизнь на много лет вперед:  
как мечется она, себя не зная,  
как чаевые, кланяясь, берет.

Как в ящике музыка заказная  
сверкает всеми кнопками, игла  
у черного шиповика-винила,  
поглаживая, стебель напрягла  
и выпила; как в ящик обронила  
иглою обескровленный бутон  
нехитрая механика, защелкав,  
как на осколки разлетелся он,  
когда-то сотворенный из осколков.

Вот эроса и голоса цена.  
Я знал ее, но думал, это фата-  
моргана, странный сон, галлюцина-  
ция, я думал — виновата  
больница, парк не парк в окне моем,  
разросшаяся дырочка укола,  
таблицы Менделеева прием  
трехразовый, намек никакого  
на жизнь мою на много лет вперед  
я не нашел. И вот она, голуба,  
поет и улыбается беззубо  
и чаевые, кланяясь, берет.

### 2

Я вымучил естественное слово,  
я научился к тридцати годам  
дыханью помещения жилого,  
которое потомку передам:

вдохни мой хлеб, «житан» от слова «жито»  
с каннабисом от слова «небеса»,  
и плоть мою вдохни, в нее зашито  
виденье гробовое: с колеса  
срывается, по крови ширясь, обод,  
из легких вытесняя кислород,  
с экрана исчезает фоторобот —  
отцовский лоб и материнский рот —

лицо мое. Смеркается. Потомок,  
я говорю поплывшим влево ртом:  
как мы вдыхали перья незнакомок,  
вдохни в своем немыслимом потом  
любви моей с пупырышками кожу  
и каплями на донышках ключиц,  
я образа ее не обезбожу,  
я ниц паду, целуя самый ниц.  
И я забуду о тебе, потомок.

Солирующий в кадре голос мой,  
он только хора древнего обломок  
для будущего и охвачен тьмой...  
А как же листья? Общим планом — листья,  
на улицах ломается комедь,  
за ней по кругу с шапкой ходит тристья  
и принимает золото за медь.  
И если крупным планом взять глазастый  
светильник — в крупный план войдет рука,  
но тронуть выключателя не даст ей  
сокрытое от оптики пока.

1996

Бродят стайками, шайками сироты,  
инвалиды стоят, как в строю.  
Вкруг Кремля котлованы повырыты,  
здесь построят мечту не мою.  
Реет в небе последняя летчица,  
ей остался до пенсии год.  
Жить не хочется, хочется, хочется,  
камень точится, время идет.

## КАРАОКЕ

Обступает меня тишина,  
предприятие смерти дочернее.  
Мысль моя, тишиной внушена,  
порывается в небо вечернее.  
В небе отзвука ищет она  
и находит. И пишет губерния.

Караоке и лондонский паб  
мне вечернее небо наваяло,  
где за стойкой услужливый краб  
виски с пивом мешает, как велено.  
Мистер Кокни кричит, что озяб.  
В зеркалах отражается дерево.

Миссис Кокни, жеманясь чуть-чуть,  
к микрофону выходит на подиум,  
подставляя колени и грудь  
популярным, как виски, мелодиям,  
норовит наготовю сверкнуть  
в подражании дивам юродивом

и поет. Как умеет поет.  
Никому не жена, не метафора.  
Жара, шороху, жизни дает  
безнадежно от такта отстав она.  
Или это мелодия врет,  
мстит за рано погибшего автора?

Ты развей мое горе, развей,  
успокой Аполлона Есенина.  
Так далеко не ходит сабвей,  
это к северу, если от севера,  
это можно представить живей,  
спиртом спирт запивая рассеяно.

Это западных веяний чад,  
год отмены катушек кассетами,  
это пение наших девчат  
пэтэушниц Заставы и Сетуни.

Так майлав и гудбай горячат,  
что гасить и не думают свет они.

Это все караоке одне.  
Очи карие. Вечером карие.  
Утром серые с черным на дне.  
Это сердце мое пролетарии  
микрофоном зажмут в тишине  
беспардонны в любом полушарии.

Залечи мою боль, залечи.  
Ровно в полночь и той же отравою.  
Это белой горячки грачи  
прилетели за русскою славою,  
многим в левую вложат ключи,  
а Модесту Саврасову — в правую.

Отступает ни с чем тишина.  
Паб закрылся. Кемарит губерния.  
И становится в небе слышна  
песня чистая и колыбельная.  
Нам сулит воскресенье она,  
и теперь уже без погребения.

1996

## ГОТИКА

За примерное поведение  
(взвейся жаворонком, сова!)  
мне под утро придет видение,  
приведет за собой слова.

Я в глаза своего безумия,  
обернувшись совой, глядел.  
Поединок — сова и мумия.  
Полнолуния передел.

Прыг из трюма петрова ботика,  
по великой равнине прыг  
европейская эта готика,  
содрогающий своды крик.

Спеси сбили и дурь повыбили —  
начала шелестеть, как рожь.  
В нашем погребе в три погибели  
не особенно поорешь.

Содрогает мне душу шелестом  
в черном бархате баронет,  
бродит замком совиным щелистым  
полукровкой, полунет.

С Люцифером ценой известною  
рассчитался за мадригал,  
непорочною звал Инцестую  
и к сравнениям прибегал

с белладонною, мандрагорою...  
Для затравки у Сатаны  
заодно с табуном и сворою  
и сравненья припасены...

Баронет и сестрица-мумия  
мне с прононсом проговорят:  
— Мы пришли на сеанс безумия  
содрогаться на задний ряд.

— Вы пришли на сеанс терпения,  
черный бархат и белена.  
Здесь орфической силой пения  
немошь ада одолена.

Люциферова периодика,  
Там-где-нас-заждались-издат  
типографий подпольных готика...  
Но Орфею до фени ад.

Удрученный унылым зрелищем,  
как глубинкою гастролер,  
он по аду прошел на бреющем,  
Босха копию приобрел.

*1996*

# СОДЕРЖАНИЕ

## I

«Бумага терпела, велела и нам...» . . . . .	7
«В ожидании друга из вооруженных...» . . . . .	8
«На фоне Афонского монастыря...» . . . . .	9
«Одесную одну любовь я посажу...» . . . . .	10
Школьник . . . . .	11
«Куда ты, куда ты...» . . . . .	13
«Стучит мотылек, стучит мотылек...» . . . . .	14
«Разгуляется плотник, развяжет рыбак...» . . . . .	15
Стихотворения к Эмили Мортимер . . . . .	16
Отъезд . . . . .	20
«Сей достоверный признак жизни дрожь...» . . . . .	21
Январские стихи . . . . .	22
Ирландия . . . . .	25
«Забудь раздельный звук и призывок слитный...» . . . . .	28
«Казалось, внутри поперхнется вот-вот...» . . . . .	29
«Слушай же, я обещаю и впредь...» . . . . .	31
«А мы, Георгия Иванова...» . . . . .	32
«В какой бы пух и прах он нынче ни рядился...» . . . . .	34
«Для густых бровей...» . . . . .	36
«Повисает рука, отмирает моя голова...» . . . . .	38
Телемахида . . . . .	39
Россия . . . . .	40
«С полной жизнью налью стакан...» . . . . .	42

## II

Поэзия . . . . .	45
«От отца мне остался приемник — я слушал эфир...» . . . . .	47
Silk Cut . . . . .	49
Памяти Сергея Новикова . . . . .	51
«Долетит мой ковер-самолет...» . . . . .	52
Музыка . . . . .	54
Я прошел, как проходит... . . . . .	55
Травиата . . . . .	56
1996 . . . . .	58
Караоке . . . . .	59
Готика . . . . .	61



Н 73

**Новиков Д.**

**Караоке.** Стихотворения. — СПб.: «Пушкинский фонд»,  
1997. — 64 с.

ISBN 5—85767—103—5

ББК 84. Р7

Серия изготовлена при участии  
Просветительско-издательского центра  
ДЕАН+АДИА-М, Санкт-Петербург,  
191025, а/я 298, тел. (812) 164 52 40

Новиков Денис Геннадиевич

**Караоке**

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1997

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 030 448 от 10 ноября 1992 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

**Подписано в печать 03.04.97 г.**

**Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.**

**Усл. п.л. 4. Бумага офсетная. Тираж 500 экз. Зак.№ 114.**



Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии "Полиграфический центр"  
190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6  
тел./факс 812 315 3310

